

А.Черняев

Для Deutsches Historisches Institut Moskau (4.X.2007)

Я выступаю перед Вами, господа, не как исследователь, и как частично причастный к объединению Германии: был помощником Горбачева по международным вопросам. Скорее в данном случае – как пока еще живой исторический источник по советско–германским отношениям.

Немало написано об особенностях этих отношений. Тем не менее, может, интересны мои личные ощущения на протяжении многих десятилетий. Я ведь пережил едва ли не пять «эпох».

Каким было мое восприятие Германии еще в семье, которая испытала определенное немецкое влияние до Революции, а потом – когда был школьником, студентом Московского Университета до Войны?

Для моего поколения тех времен все иностранное (я имею в виду более или менее грамотную часть общества и, конечно, – интеллигентную ее часть) – казалось в основном немецким. Тем более, что практически единственным иностранным языком, который преподавался в школе, был именно немецкий (я до сих пор помню «Лорелею» Гейне и «Лесной царь» Гёте, хотя язык давно забыл).

Все это объяснимо исторически.

Наша Революция с самого начала связала себя с революцией в Германии. На нее большевики очень рассчитывали. Причем – долго. Даже в 1923 году агенты Коминтерна из Москвы пытались возродить революционный подъем у вас.

Наши исторические вожди, старые большевики, почти все знали немецкий язык, бывали в эмиграции в Германии, учились у немецких социал–демократов, знали наизусть Каутского и пропагандировали его в России. Карл Либкнехт и Роза Люксембург были для советских людей героями, их именами называли фабрики, площади, улицы.

Россия и Германия были, мягко говоря, «обижены» результатом Первой мировой войны. Советская Россия осудила Версальский договор. А вскоре состоялось Рапалло, которое колыхнуло европейскую политику и заставило другие государства устанавливать дипломатические отношения с Советской Россией.

Немецкая литература буквально хлынула в среду русской интеллигенции. Огромными тиражами издавалась классика – Лессинг, Шиллер (они же ставились в театрах), Гёте, Гейне... Это касалось и писателей, поэтов, так сказать, второго ряда – Клейст, Гельдерлин, Гофман, братья Гримм, Новалис... Позже – Гауптман (который тоже часто шел в советских театрах). Современные по тем временам – Генрих и Томас Манны (в Москве трудно было найти читателя, который бы не знал «Буденбров»), Фейхтвангер, Брехт, Ремарк, Стефан Цвейг, Келлерманн, Ганс Фаллада...

Сложилась высочайшего класса переводческая школа с немецкого.

Шопенгауэр и Ницше не издавались до Войны. Но они были доступны в больших библиотеках и на прилавках букинистов. И их читали, ими увлекались.

И – last but not least – Маркс и Энгельс. Да – они наши идеологические божества, т.е. «небожители». Тем не менее – никуда было не деться от того, что они немцы. Их обязаны были знать все, кто учился в вузах. А через них выходили на историю Германии и на Гегеля, и Канта. И, плохо бедно, но их изучали. В 30–х гг. начато издание полного собрания сочинений Гегеля.

Знакомы, наверно, строчки нашего великого поэта Александра Блока:

Нам внятно все:

И острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений.

Это написано до Революции. Но касательно «германского гения», он постоянно присутствовал и в советской культуре.

Такие большевистские вожди, как Бухарин, Троцкий, Луначарский, писали обширные эссе о германской литературе. По случаю 80–летия со дня смерти Генриха Гейне в Академии наук СССР состоялось большое собрание

с докладом Бухарина. И знаете, как назывался этот доклад? «Гейне и коммунизм». Видимо, присутствовала тенденция адаптировать «германский гений» к советской культуре, к советскому общественному сознанию.

Была, конечно, начиная с 20-х гг., и политическая составляющая в наших отношениях с Германией, явная и тайная. Все знали Эрнста Гельмана, знали о Германской компартии, самой большой в Коминтерне после ВКП(б), об их борьбе против нацистов. Но не знали, как мы помогали возрождать рейхсвер – учили на своих полигонах германских танкистов и летчиков... На свою голову!

Вот, кажется, достаточно, чтобы представить себе, как воспринималась – вплоть до последних лет перед войной – Германия в Советском Союзе и что она значила для нас.

На этом фоне приход Гитлера к власти стал **потрясением** для советских людей, чего, наверно, не произошло в самой Германии, по крайней мере, для большинства немецких обывателей.

Впрочем, ситуация складывалась двойственная. Пропаганда разоблачала нацизм. Смотреть фильм «Профессор Мамлок» бегали чуть ли не как «Чапаева». Но ничего не изменилось по отношению к немцам, никакой дискриминации немецкой культуры не наблюдалось, а после пакта Молотов–Риббентроп даже была некоторая эйфория по части немецкой культуры и истории.

Сталин повел очень глупую политику. С одной стороны, развернул подготовку к войне, перевооружение армии и т.д. С другой... Все обратили внимание, что он фактически приглушил эффект антифашистского УП Конгресса Коминтерна, даже не упомянул его в своем знаменитом «Кратком Курсе истории ВКП(б)» – этом «евангелии от Иосифа». Теперь доказано, что он симпатизировал Гитлеру, увидел в нем родственную душу эффективного диктатора. Пакт Молотова–Риббентропа и последовавший Договор о дружбе с ее тайными протоколами – был не просто грубейшей, исторического

масштаба ошибкой, а преступлением, которое обернулось дополнительно миллионами жизней советских людей, и 3 млн. пленных только в 1941 году. (Хотя я не считаю, что войну можно было вообще предотвратить).

Здесь я категорически не согласен ни с официальной точкой зрения, ни со многими историками, которые почему-то Горбачева судят по результатам, а Сталина – «по обстоятельствам времени».

Разразилась страшная война.

Я недавно прочел книгу Jonathan Littell «Les Bienveillantes». Это англичанин, известный писатель и публицист. Книгу он написал по-французски и издал сначала в Париже. Около 1000 страниц. Он нарисовал совершенно ужасающую картину действий СД и эсэсовцев в тылах наступавшего вермахта, на оккупированной территории от западной границы СССР до Кавказа.

По случаю очередной даты - «22 июня» я перечел два огромных тома военных дневников Константина Симонова. Там тоже порядочно всего такого. Я сам был на войне, кое-что видел и испытал.

К чему это я?

С точки зрения восприятия Германии, немцев, **шок** для советских людей был **ошеломительный**. Удивление (да, да!) и разочарование было полным, опустошительным.

Преодолеть потом это было не просто, особенно в условиях «холодной войны», которая вновь превратила Германию, Западную ее часть, во врага, если не N 1, то – N 2.

Появилась ГДР – которую называли «оплотом социализма в центре Европы!». Случились события в Берлине в 1953 году. Диктаторски распоряжался в искусственно созданной республике Вальтер Ульбрихт, который вскоре выдвинул теорию «социалистической немецкой нации». И бывало даже навязывал Москве, что ей делать в германских делах, – изобрел «стену» (не знаю, доказано ли, что инициатива принадлежала не Хрущеву).

А у нас появился Громыко – «министр – нет!». И пошло–поехало на долгие годы.

Сталин действительно был против расчленения Германии. Видел коварство этих планов американо–английских ястребов – с точки зрения интересов СССР. Но вот предложения Москвы в начале 50–х гг. об объединении на определенных условиях, думаю были блефом, игрой. Заведомо было ясно, особенно после Корейской войны, что эта идея не реалистическая и непроходимая.

Сложился стойкий стереотип: Западная Германия – «очаг реваншизма и орудие американского империализма».

Время вымывает стереотипы. Немецкая литература вернулась на полки читателей, в том числе новая, а не только Ремарк, которым увлеклись повально в 50–60–х гг., - Генрих Белль, Гессе, Гюнтер Грасс, Альфред Деблин, Ганс Носсак, сборники разных и многих западно–германских писателей... Плюс к этому – Бетховен, Шуберт, Шуман, Вагнер – опять обильно пошли и в эфир, и в концертные залы.

Ширились экономические связи с ФРГ и, конечно, с ГДР. Между прочим, роль **гедезровцев** в изменении отношения к немцам огромна и недооценена. Интенсивный обмен разными делегациями, туристские поездки, учеба немцев в советских вузах, деловые, приятельские, дружеские и любовные связи, даже браки – все это, если и не отменяло «образа врага», но сильно размывало представление о немцах на человеческом уровне. Правда, складывался другой стереотип: есть «наши немцы» и «не наши». Но и в этом все же был какой–то позитив... на перспективу.

Подойдя к теме собственно объединения Германии, я – в затруднительном положении.

Я очень много написал и наговорил (в разных интервью и докладах) по теме, по которой меня попросили выступить здесь. Избавиться от своих оценок, выводов и мыслей, которые сложились в конце 80–х гг. и потом, я не

могу. Так что ничего нового, по сравнению с тем, что можно найти в моих публикациях или в совместных с профессором Галкиным, известным нашим германистом, вы не услышите. Тем не менее...

Если бы Советский Союз сохранился, «Ось Москва – Берлин», (извините за эту плохую аналогию), о чем «в подтексте» фактически уже шла речь между Горбачевым и Кодем, стала бы определяющим фактором мирного европейского процесса. И он не переродился бы, как это теперь произошло, в процесс расширения НАТО. Германия имела бы в друзьях другую сверхдержаву, причем она давно знала, что НАТО существует не только для «сдерживания Кремля», но и для «удержания в объятиях» ее самой. И она вряд ли бы легко согласилась с американской затеей – превратить всю Европу до пределов России – в НАТОвскую.

Политика нового мышления, эффективность которой оказалась для Германии столь значимой, получила бы в ее лице мощную перманентную поддержку.

Тандем двух самых крупных европейских держав стал бы гарантийной опорой уверенного движения международного сообщества к новому мировому порядку.

Однако, вернемся немножко назад – к тому, как шел Горбачев к такому пониманию.

Когда он пришел к власти, в сознании политизированного слоя общества и в народе слово «немец» прежде всего напоминало о войне.

Память о войне и о Победе культивировалась у нас в сугубо идеологических целях. Она оставалась и остается стержнем патриотической пропаганды. И, надо сказать, что эта тема была чем-то таким в дряхлевшей официальной идеологии, что только и вызывало отклик в народе.

Далее. Немцы восточные и немцы западные – для нас были понятия разные. На гедезеровцев в обыденном восприятии вроде не распространялась вина за 41-й год.

Что касается понятия «Германия», то она и политически и, как ни странно, географически отождествлялась в обиходе с Западной Германией, с ФРГ.

Однако была еще одна константа. У советского руководства, да и в советском обществе существовало (пусть не до конца отформулированное) убеждение: Западная Германия – хотим ли мы того или не хотим, хотят ли этого или нет ее собственные союзники по НАТО – крупнейшая величина в соотношении мировых сил, и ее роль в мировой политике будет неумолимо возрастать.

В этом же направлении действовал еще один фактор. При Горбачеве открылись все шлюзы для реанимации того огромного влияния, которое ранее оказала немецкая культура, ее философский и художественный потенциал на русскую общественную мысль.

Это действовало подспудно и на политическое восприятие немцев, поскольку общество освобождалось от идеологической зашоренности, от шовинистической узости и мстительности.

Тем не менее, «ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС» для нас в СССР не существовал. Мы его официально не признавали, ибо хорошо понимали его конечный смысл.

Я считаю просто подвигом – перед немецкой нацией и перед Европой в целом – выдвинутую Брандтом «восточную политику». Конечно, цель ее ясна была советскому руководству, в том числе Брежневу (лично слышал это от него), цель в общем–то Адэнауэровская – воссоединение нации. Однако это было такое предложение, от которого, как говорится, трудно отказаться. Ибо это была альтернатива **нагнетания** холодной войны в центре Европы.

Не будь ее, Горбачеву было бы значительно труднее начать разгребать завалы в наших отношениях, нагроможденные за время господства в нашей дипломатии Громыко.

Исключительная заслуга в этом историческом деле, - с советской стороны принадлежит здесь и **Валентину Михайловичу Фалину**, послу. Что

же касается его позиции относительно объединения Германии, когда если Московский договор принимать за «А», пришло время сказать «Б», то об этом здесь говорить не буду.

В обстановке ужесточения «холодной войны» политический капитал, накопленный на базе Московского договора, стал быстро таять к концу 1970–х.

Поэтому, когда Горбачев возглавил СССР, мы совсем не были готовы к решению «германского вопроса».

Западные немцы на это тогда и не очень рассчитывали. Ведь они последними из крупных держав увидели в приходе Горбачева шанс на изменение европейской ситуации. Нашумевшее сравнение Горбачева с Геббельсом, которое позволил себе канцлер, – не просто словесная оплошность.

В мае 1987 года на Политбюро обсуждался вопрос об отношениях с ФРГ – в связи с предстоящим визитом президента Рихарда фон Вайцеккера. Констатировалось: в контексте концепции «общеевропейского дома» Западная Германия – важнейшее звено. Так что необходимо реанимировать потенциал Московского договора.

Эта тема присутствовала во встрече с Вайцеккером. Были произнесены слова о «новой странице» в отношениях. Однако по «германскому вопросу» позиция оставалась пока, я бы сказал, «громыкинской» (политически). Но с некоторой перспективой (в «философском плане»): «история рассудит!»

Что за этой формулой стояло?

Во–первых, понимание, свойственное не только Горбачеву: насильственный раздел великой нации ненормален и нельзя целый народ приговорить навечно к наказанию за преступления прошлых его правителей.

Во–вторых, желание нового в Кремле политика дать *надежду* очень нужному для нас участнику новой большой «игры» на международной сцене.

Без этого не получилось бы улучшения отношений (тем более – взаимопонимания) с независимой от нас частью Германии.

ИМПУЛЬС К СБЛИЖЕНИЮ задало включение в эту «игру» (а это была пока еще «игра») канцлера Гельмута Коля.

Главным результатом их первой встречи было:

– понимание обоими значимости такой встречи для их стран и для них самих как государственных деятелей;

– быстрое, даже несколько неожиданное включение чувства симпатии: они понравились друг другу, увидели, что могут друг с другом ладить;

– обнаружившаяся готовность преодолевать предубеждения, снимать бремя памяти о Войне;

– безусловное у обоих неприятие, отвращение к войне вообще и в человеческом, и в политическом плане (немцы и русские навоевались вдоволь и не собираются этим заниматься еще раз). А это означало молчаливое признание, что и тот и другой не считают свои государства военными противниками, хотя и принадлежат к враждебным милитаристским блокам;

– подспудно и отчасти в словах («Вы – генсек компартии, я – лидер христианской партии» - слова Коля) обнаружилась *способность* не впутывать идеологию в отношения между двумя народами и странами;

– готовность выводить эти отношения на новый уровень взаимной выгоды, на уровень **доверия**.

Об объединении Германии на этой первой их встрече речь тоже не шла.

Я присутствовал при «включении в сеть» (употреблю термин из электротехники) тока личного доверия – одного из важнейших элементов «нового мышления» во внешней политике.

Но еще до Коля и Вайцеккера Горбачев встречался за первые три года перестройки с разными германскими деятелями – с Брандтом, с Рау, несколько раз с Хонеккером и его соратниками, со Шпэтом, Бангеманом, с

Геншером, с Баром, со Шмиттом, с Мисом, с редактором «Шпигеля» Аугштайном...

В процессе объединения главную роль – с немецкой стороны – конечно, сыграл **канцлер**. А в **подготовке к повороту** событий в этом направлении (потом и в ходе сложнейших переговоров) я бы особо выделил огромный **вклад**, который внесли два человека – г-н Ганс-Дитрих Геншер и Андреас Майер-Ландрут. Хочу назвать также Хорста Тельчика, помощника канцлера. Мы с ним действовали «на параллельных» при двух лидерах. Но личного сближения (в отличие от того, что было с Андреасом) не произошло. Наверно, сказался и языковой барьер.

Горбачев вживался в германскую тему, осваивал ее, улавливал «зовы времени».

Важнейшим моментом в осознании Горбачевым неизбежности и необходимости решать наконец «германский вопрос» был **его визит в Западную Германию** в июне 1989 года. И дело даже не в переговорах (содержательных), не в документах (важных и нужных), не в формулировках, которые употреблялись публично и за дверьми кабинетов. Хотя это все, конечно, существенно.

Главное – в том, как встретили Горбачева немцы, толпы немцев, и в том, какими он сам их повсюду увидел. Это была совсем не та страна, не тот народ, образ которого мы сами для себя создали под воздействием 1941–1945 годов и «холодной войны». Тогда Горбачев убедился, что есть шанс возобновить прерванный в XX веке процесс активного взаимодействия между двумя великими нациями Европы.

Отныне немецкое направление внешней политики Кремля было переориентировано на Западную Германию. Это поняли повсюду. И, что особенно важно, поняли и в ГДР – и власти, и СЕПГ, и население.

Меня и самого Горбачева часто спрашивают: а когда точно (чуть ли не какого числа) Горбачев согласился на объединение Германии?

Такой даты нет в природе. Здесь тоже происходил процесс, оснащенный новым мышлением. А именно...

– Стремление не допустить, чтобы нараставший порыв немцев к единству взорвал уже достигнутое на пути преодоления «холодной войны»; поэтому все должно идти очень постепенно.

– Признание, что немцы имеют право на решение своей собственной национальной судьбы – но с учетом интересов соседей.

– Неизменность установки, что сила не может быть и не будет применена.

С учетом этих трех позиций только и можно объяснить, что и почему – в последующие месяцы – Горбачев делал или не делал, говорил или умалчивал. Только помня об этом, можно понять противоречия в его словах, сказанных публично или на каких-то переговорах.

После падения Берлинской стены со сменявшимися друг друга новыми руководителями ГДР он вел себя так, чтобы они не наделали глупостей и не спровоцировали кровопролития (как это случилось потом в Румынии), вел себя так, что ГДР еще долго жить, хотя в душе в этом уже сомневался.

Горбачева упрекают в непоследовательности, в том, что он противоречил сам себе... Одним говорил одно, другим – не совсем то же самое. Боюсь, однако, что будь Горбачев строго последователен – таким, каким хотели бы видеть его оппоненты и противники, – и держись он упрямо за слова, которые однажды кому-то сказал, не обращая внимания на ход событий, – в Европе случилась бы большая беда.

В октябре–ноябре 1989–го, повторяю, Горбачев исходил из того, что ГДР сможет, радикально реформируясь, сохраниться на более или менее продолжительное время, все больше сближаясь с ФРГ. И тогда с ним были в этом согласны и Коль, и Геншер.

Однако на Мальте 2 декабря он уже рассуждает с Бушем, останется ли *объединенная(!)* Германия в НАТО, и впервые подбрасывает идею

«нейтрализации». Оговариваясь, правда, что официально обсуждать весь этот вопрос преждевременно.

А через 3 дня в Москве устраивает буквально скандал Геншеру за «10 пунктов», которые канцлер неожиданно провозгласил в бундестаге. И главный упрек – посягательство на суверенитет ГДР, вмешательство в ее внутренние дела, запрос на конфедерацию.

В конце января 1990-го на узком совещании в кабинете Горбачева в здании Центрального Комитета все участники исходят из того, что судьба ГДР решена, государство там уже разваливается. Одобряется идея «шестерки» (4+2; 2+4). Здесь же Горбачев отдает распоряжение маршалу Ахромееву готовить вывод войск из Восточной Германии.

Однако всего лишь неделю спустя, 30 января, на встрече с Модровым в Москве Горбачев опять продолжает предметно обсуждать вопросы жизнедеятельности ГДР и сотрудничества СССР с нею. Хотя сам Модров признает, что «идею существования двух немецких государств уже не поддерживает растущая часть населения ГДР. И эту идею уже невозможно сохранить».

На встрече с канцлером в Москве (10 февраля), казалось бы, в противоречии с тем, что за десять дней до этого говорил Модрову, Горбачев обсуждает с Колем вопросы, которые фактически относятся к проблемам *единой Германии* (принадлежность к НАТО или нейтрализация, границы, отношения с Польшей, Чехословакией, преемственность по договорам, заключенным ГДР, и т. п.).

Тут же он произносит знаменитую, решающую фразу: «Немцы сами должны сделать свой выбор. И они должны знать нашу позицию».

Коль переспросил: «Вы хотите сказать, что вопрос единства – это выбор самих немцев?» – Да. Но в контексте реальностей.

На этом этапе в дело активно вмешались американцы. До конца 89-го года они еще колебались. Их и их союзников по НАТО пугало возникновение Объединенной Германии, которая неизбежно станет

«главной» в Западной Европе. Но, когда «процесс пошел» (знаменитый горбачевский термин), пошел неудержимо, причем при существенном понимании со стороны Москвы, в Вашингтоне забеспокоились о другом – не станет ли новая Германия более близким союзником другой сверхдержавы – в благодарность за ее роль в объединении... да и **по самой логике истории** континента.

Камнем преткновения становятся проблемы НАТО.

Политбюро дает инструкцию Шеварднадзе на заседание «2+4» в Париже: ни в коем случае не соглашаться на вхождение Германии в НАТО. Отстоять эту позицию там не удалось, она была безнадежной (и я не раз говорил об этом Горбачеву): раз Германия становится абсолютно суверенным государством в международно–правовом плане, она вольна входить в любой блок или не входить никуда.

Тем не менее с этой позицией Горбачев в конце мая 1990–го едет в Вашингтон на очередную встречу на высшем уровне с Бушем. И там, после долгих споров, договаривается об известной формуле.

В этой связи хочу подчеркнуть: как только Горбачев окончательно убедился, что порыв немцев к воссоединению неодолим, что это *действительно народное и демократическое* движение, а не чья–то политическая игра или эмоции распропагандированной молодежи, он твердо для себя решил: история, на которую он ссылался, сказала свое слово, и остается только помочь ей перевести это слово в дело – *мирным путем*.

Канцлера тоже можно упрекнуть в том, что он временами и лукавил, и сгущал краски, и торопил события, и использовал их в предвыборной борьбе.

Однако **с точки зрения исторической (и даже нравственной)** это столь же несущественно, как и внешняя противоречивость высказываний Горбачева.

Ибо то, что они делали, отражало волю немецкого народа, отвечало коренным интересам народов СССР, Европы, мира.

Горбачев и Коль **ликвидировали главный очаг «холодной войны»**. Они создавали прецедент решения проблем мировой политики *по-новому*, по критериям грядущей эпохи.

После вашингтонской встречи Горбачева с Бушем в конце мая 90 года вопрос о том, быть или не быть Германии единой, снимался *как проблема движения истории*. Оставалось политическое и юридическое оформление, что и было сделано в течение трех месяцев в Москве, Архызе, в Бонне и опять в Москве. Сюда, естественно, вошли и проблемы урегулирования внешних аспектов объединения Германии – через механизм «2+4».

В июне 1990-го канцлер привез в Москву проект «Большого договора» между СССР и единой Германией. И Горбачев воспринял этот жест как совершенно естественный и своевременный (я помню этот момент – в мидовском особняке на Спиридоновке, в присутствии только помощников, меня и Тельчика).

х

х х

В ДУХОВНОЙ СМУТЕ, которая царит в России, гуляет много оценок политики Горбачева в германском объединении.

На взгляд одних, надо было решительно воспротивиться. И средства были: в ГДР стояло чуть ли не полумиллионное советское войско, оснащенное лучшим оружием. То, что обошлось именно «без боя», оценивается как предательство.

Другие считают, что соглашаться на объединение можно было. Но следовало за согласие значительно больше запросить, «содрать семь шкур», как выразился один кэгэбэшник.

Третьи полагают, что в любом случае нельзя было пускать Германию в НАТО, надо было шантажировать и немцев, и американцев, тем самым затянуть, а, может быть, и остановить все это дело.

Что сказать по этому поводу?

Ни одного, ни другого, ни третьего... ни пятого (есть варианты, оттенки этих точек зрения) Горбачев сделать бы не мог. Тогда бы это был не Горбачев.

Горбачев выводил международную политику на другой уровень, где имеет значение мораль. Пусть это не вполне удалось, но, как бы ни язвили циники–традиционалисты от дипломатии, усилия не прошли даром. Логика истории требовала ликвидации угрозы ядерной войны и коренного изменения самой сути мировой политики. В русле этой логики прав был Горбачев. В рамках «дипломатической» логики, абсолютизирующей «национальный интерес», когда важнее всего обыграть партнера или противника, урвать у него побольше и дать поменьше, – решить германский вопрос было бы просто невозможно.

Что получила Германия в результате объединения – не требует объяснений.

Мы же получили столько, сколько Германия могла бы и не дать, будучи уже сама мощнейшей державой и главным союзником другой ядерной сверхдержавы, а именно: содержание остававшихся наших войск, строительство квартир для офицеров, кредиты, помощь, включая весьма щедрую гуманитарную, активную поддержку в международных делах, прежде всего – в «семерке». В деньгах все это исчисляется в сотни миллиардов долларов. Другое дело – как мы этим распорядились.

Гельмут Коль честно и лояльно, при поддержке огромного большинства немцев, выполнил все, что скрепил своим словом и подписью. Перенес этот свой подход на Россию, не поступившись при этом, кстати сказать, порядочностью по отношению к Горбачеву. Не унизил себя дипломатической «потерей памяти», что удалось отнюдь не всем.

В кардинально изменившейся ситуации канцлер «дал, что мог». Но это на несколько порядков меньше – и геополитически, и материально, – чем если бы заработала «ось Москва – Берлин», с чего я и начал.

История не прощает упущенных шансов. Объединение Германии могло бы сыграть огромную, незаменимую роль в демократическом преобразовании нашей страны, серьезно облегчить и сократить для нее переходный период, оказавшийся столь драматичным и отвратительным.

_____.